

ПРАВЯЩИЕ И ВОЙНА

Что думали делать с этой войной и с этой армией Временное правительство и Исполнительный комитет?

Прежде всего нужно понять политику либеральной буржуазии, так как первую скрипку играла она. По внешнему виду военная политика либерализма оставалась наступательно-патриотической, захватнической, непримиримой. На самом деле она была противоречивой, вероломной и быстро становилась пораженческой.

"Если бы и не было революции, война все равно была бы проиграна и был бы, по всей вероятности, заключен сепаратный мир", -- писал впоследствии Родзянко, суждения которого не отличались самостоятельностью, но именно поэтому хорошо выражали среднее мнение либерально-консервативных кругов. Восстание гвардейских батальонов предвещало имущим классам не внешнюю победу, а внутреннее поражение. Либералы тем меньше могли делать себе на этот счет иллюзии, что они заранее предвидели опасность и, как могли, боролись против нее. Неожиданный революционный оптимизм Милюкова, объявившего переворот ступенью к победе, был, в сущности, последним ресурсом отчаяния. Вопрос о войне и мире на три четверти перестал для либералов быть самостоятельным вопросом. Они чувствовали, что им не дано будет использовать революцию для войны. Тем повелительнее вставала перед ними другая задача: использовать войну против революции.

Вопросы мирового положения России после войны: долги и новые займы, рынки капиталов и рынки сбыта -- стояли, разумеется, и сейчас перед вождями русской буржуазии. Но не эти вопросы определяли ее политику непосредственно. Сегодня дело шло не об обеспечении наиболее выгодных международных условий для буржуазной России, а о спасении самого буржуазного режима хотя бы ценою дальнейшего обессиления России. "Сперва надо выздороветь, -- говорил тяжело раненный класс, -- а затем уж приводить в порядок дела". Выздороветь значило справиться с революцией.

Поддержание военного гипноза и шовинистических настроений открывало для буржуазии единственную еще возможную политическую связь с массами, прежде всего с армией, против так называемых углубителей революции. Задача состояла в том, чтобы унаследованную от царизма войну, с прежними союзниками и целями, представить народу как новую войну, как оборону революционных завоеваний и надежд. Стоит этого достигнуть -- но как? -- и либерализм твердо рассчитывал направить против революции всю ту организацию патриотического общественного мнения, которая вчера служила ему против распутинской клики. Если не удалось спасти монархию как высшую инстанцию против народа, нужно было тем более держаться за союзников: на время войны Антанта, во всяком случае, представляла апелляционную инстанцию несравненно более могущественную, чем могла бы явиться собственная монархия.

Продолжение войны должно было оправдать сохранение старого военного и бюрократического аппарата, оттяжку Учредительного собрания, подчинение революционной страны фронту, т. е. генералитету, сомкнувшемуся с либеральной буржуазией. Все внутренние вопросы, прежде всего аграрный, и все социальное законодательство откладывались до окончания войны, которое, в свою очередь, откладывалось до победы, в которую либералы не верили. Война на истощение врага превращалась в войну на истощение революции. Это, может быть, и не был законченный план, заранее обсужденный и взвешенный на официальных заседаниях. Но в этом и не было надобности. План вытекал из всей предшествующей политики либерализма и из созданной революцией обстановки.

Вынужденный идти путем войны, Милюков не имел, разумеется, основания заранее отказываться от участия в дележе добычи. Ведь надежды на победу союзников оставались вполне реальными, а со вступлением Америки в войну чрезвычайно возросли. Правда, Антанта -- одно, а Россия -- другое. Вожди русской буржуазии научились в течение лет понимать, что при экономической и военной слабости России победа Антанты над центральными империями неминуемо должна стать ее победой над Россией, которая при всех возможных вариантах должна выйти из войны разбитой и ослабленной. Но либеральные империалисты решили сознательно закрывать глаза на эту перспективу. Другого им ничего уже и не оставалось. Гучков прямо заявлял в своем кругу, что спасти Россию может только чудо и что надежда на чудо составляет его программу как военного министра. Милюкову для внутренней политики нужен был миф победы. В какой мере он еще сам верил в него, не имеет значения. Но он упрямо твердил, что Константинополь должен быть наш. При этом он действовал со свойственным ему цинизмом. 20 марта русский министр иностранных дел убеждал союзных послов предать Сербию, чтобы купить таким путем измену Болгарии центральным империям. Французский посол морщился. Милюков, однако, настаивал на "необходимости отказаться в этом вопросе от сентиментальных соображений", а заодно и от того неославизма, который он проповедовал со времени разгрома первой революции. Недаром Энгельс писал Бернштейну еще в 1882 году: "К чему сводится все русское панславистское шарлатанство? К взятию Константинополя -- вот и все".

Обвинения в германофильстве, даже в немецком подкупе, направлявшиеся еще вчера против дворцовой камарильи, были сегодня повернуты отравленным острием против революции. Чем дальше, тем смелее, громче, наглее звучала эта нота в речах и статьях кадетской партии. Прежде чем овладеть турецкими водами, либерализм мучил источники и отравлял колодцы революции.

Далеко не все либеральные лидеры, во всяком случае не сразу, заняли после переворота непримиримую позицию в вопросе о войне. Многие находились еще в атмосфере дореволюционных настроений, связанных с перспективой сепаратного мира. Отдельные руководящие кадеты рассказали об этом впоследствии с полной откровенностью. Набоков, по собственному

признанию, уже 7 марта заговаривал с членами правительства о сепаратном мире. Несколько членов кадетского центра коллективно пытались доказать своему лидеру невозможность затягивания войны. "Милюков со свойственной ему холодной отчетливостью доказывал, -- по словам барона Нольде, -- что цели войны должны быть достигнуты". Генерал Алексеев, сблизившийся в это время с кадетами, подтягивал Милюкову, утверждая, что "армия может быть поднята". Поднять ее призван был, очевидно, этот штабной организатор бедствий.

Кое-кто среди либералов и демократов понаивнее не понимал курса Милюкова и считал его самого рыцарем верности союзникам. Дон Кихотом Антанты. Какая нелепость! После того как большевики взяли власть, Милюков ни на минуту не задумался отправиться в оккупированный немцами Киев и предложить свои услуги гогенцоллернскому правительству, которое, правда, не торопилось их принять. Ближайшей целью Милюкова было при этом получить для борьбы с большевиками то самое немецкое золото, призраком которого он пытался ранее запятнать революцию. Апелляция Милюкова к Германии показалась в 1918 году многим либералам столь же непонятной, как в первые месяцы 1917 года -- его программа разгрома Германии. Но это были лишь две стороны одной и той же медали. Готовясь изменить союзникам, как ранее Сербии, Милюков не изменял ни себе, ни своему классу. Он проводил одну и ту же политику, и не его вина, если она выглядела неказисто. Прощупывая при царизме пути сепаратного мира с целью избежать революции; требуя войны до конца, чтобы справиться с Февральской революцией; ища позже союза с Гогенцоллерном, чтобы опрокинуть Октябрьскую революцию, Милюков одинаково оставался верен интересам имущих. Если он им не помог, расшибаясь каждый раз о новую стену, то это потому, что его доверители находились в тупике.

Чего Милюкову особенно не хватало на первых порах после переворота, так это неприятельского наступления, хорошего германского тумака по черепу революции. На беду март и апрель по климатическим условиям были неблагоприятны на русском фронте для операций большого масштаба. А главное, немцы, положение которых становилось все более тяжким, решили, после больших колебаний, предоставить русскую революцию своим внутренним процессам. Только генерал Лизинген проявил частную инициативу на Стоходе 20--21 марта. Его успех одновременно испугал германское правительство и обрадовал русское. С таким же бесстыдством, с каким ставка при царе преувеличивала малейшие успехи, она теперь раздула поражение на Стоходе. Следом за ней шла либеральная печать. Случаи неустойчивости, паники и потерь в русских войсках живописались с таким же вкусом, как ранее -- пленные и трофеи. Буржуазия и генералитет явно переходили на позиции пораженчества. Но Лизинген был остановлен сверху, и фронт снова застыл в весенней грязи и в выжидании.

Замысел -- опереться на войну против революции -- мог иметь шансы на успех лишь при условии, если промежуточные партии, за которыми шли народные массы, соглашались брать на себя роль передаточного механизма

либеральной политики. Связать идею войны с идеей революции либерализму было не под силу: еще вчера он проповедовал, что революция будет губительна для войны. Надо было навязать эту задачу демократии. Но перед ней, конечно, нельзя было раскрывать "секрета". Ее надо было не посвящать в план, а поймать на крючок. Надо было ее зацепить за ее предрассудки, за ее чванство своим государственным разумом, за ее страх пред анархией, за ее суеверное преклонение пред буржуазией.

В первые дни социалисты -- мы вынуждены называть так для краткости меньшевиков и эсеров -- не знали, что им делать с войной. Чхеидзе вздыхал: "Мы все время говорили против войны, как же я могу теперь призывать к продолжению войны?" 10 марта Исполнительный комитет постановил послать приветствие Францу Мерингу. Этой маленькой демонстрацией левое крыло пыталось успокоить свою не очень требовательную социалистическую совесть. О самой войне Совет продолжал молчать. Вожди боялись создать на этом вопросе столкновение с Временным правительством и омрачить медовые недели "контакта". Не меньше боялись они расхождений в собственной среде. Среди них были оборонцы и циммервальдцы. Те и другие переоценивали свои разногласия. Широкие круги революционной интеллигенции претерпели за время войны основательное буржуазное перерождение. Патриотизм, открытый или замаскированный, связал интеллигенцию с правящими классами, оторвав ее от масс. Знамя Циммервальда, которым прикрывалось левое крыло, не обязывало ко многому, а в то же время позволяло не обнажать свою патриотическую солидарность с распутинской кликой. Но теперь романовский режим был опрокинут. Россия стала демократической страной. Ее игравшая всеми красками свобода ярко выделялась на полицейском фоне Европы, зажатой в тиски военной диктатуры. "Неужели же мы не будем защищать нашу революцию против Гогенцоллерна?!" -- восклицали старые и новые патриоты, ставшие во главе Исполнительного комитета. Циммервальдцы, типа Суханова и Стеклова, неуверенно ссылались на то, что война остается империалистической: ведь либералы заявляют, что революция должна обеспечить намеченные при царе аннексии. "Как же я могу призывать теперь к продолжению войны?" -- тревожился Чхеидзе. Но так как сами циммервальдцы были инициаторами передачи власти либералам, то их возражения повисали в воздухе. После нескольких недель колебаний и сопротивлений первая часть плана Милюкова была, при содействии Церетели, достаточно благополучно разрешена: плохие демократы, считавшие себя социалистами, впряглись в лямку войны и, под кнутом либералов, старались изо всех силенок обеспечить победу... Антанты над Россией, Америки над Европой.

Главная функция соглашателей состояла в том, чтобы революционную энергию масс переключить на провода патриотизма. Они стремились, с одной стороны, возродить боеспособность армии -- это было трудно; они пытались, с другой стороны, побудить правительства Антанты отказаться от грабежей -- это было смехотворно. В обоих направлениях они шли от

иллюзий к разочарованиям и от ошибок к унижениям. Отметим первые вехи на этом пути.

В часы своего недолгого величия Родзянко успел издать приказ о немедленном возвращении солдат в казармы и о подчинении их офицерам. Вызванное этим возбуждение гарнизона заставило Совет посвятить одно из первых своих заседаний вопросу о дальнейшей судьбе солдата. В горячей атмосфере тех часов, в хаосе заседания, похожего на митинг, под прямую диктовку солдат, которым не успели помешать отсутствовавшие вожди, возник знаменитый "приказ № I", единственный достойный документ Февральской революции, хартия вольностей революционной армии. Его смелые параграфы, дававшие солдатам организованный выход на новую дорогу, постановляли: создать во всех воинских частях выборные комитеты; выбрать солдатских представителей в Совет; во всех политических выступлениях подчиняться Совету и своим комитетам; оружие держать под контролем ротных и батальонных комитетов и "ни в коем случае не выдавать офицерам"; в строю -- строжайшая воинская дисциплина, вне строя -- полнота гражданских прав; отдание чести вне службы и титулование офицеров отменяется; воспрещается грубое обращение с солдатами, в частности обращение к ним на "ты" и пр.

Таковы были выводы петроградских солдат из их участия в перевороте. Могли ли они быть иными? Спротивляться никто не посмел. Во время выработки "приказа" вожди Совета были отвлечены более высокими заботами: они вели переговоры с либералами. Это дало им возможность сослаться на свое alibi, когда им пришлось оправдываться перед буржуазией и командным составом.

Одновременно с "приказом № 1" Исполнительный комитет, успевший спохватиться, прислал в типографию, в качестве противоядия, обращение к солдатам, которое, под видом осуждения самосудов над офицерами, требовало подчинения старому командному составу. Наборщики попросту отказались набирать этот документ. Демократические авторы были вне себя от возмущения: куда мы идем? Неправильно было бы, однако, полагать, будто наборщики стремились к кровавым расправам над офицерством. Но призыв к подчинению царскому командному составу на второй день после переворота казался им равносильным открытию ворот контрреволюции. Конечно, наборщики превысили свои права. Но они чувствовали себя не только наборщиками. Дело шло, по их мнению, о голове революции.

В те первые дни, когда судьба возвращавшихся в полки офицеров крайне остро волновала как солдат, так и рабочих, межрайонная социал-демократическая организация, близкая к большевикам, поставила больной вопрос с революционной смелостью. "Для того чтобы вас не обманули дворяне и офицеры, -- гласило выпущенное ею к солдатам воззвание, -- выбирайте сами взводных, ротных и полковых командиров. Принимайте к себе только тех офицеров, которых вы знаете как друзей народа". И что же? Прокламация, вполне отвечавшая обстановке, была немедленно конфискована Исполнительным комитетом, а Чхеидзе в своей речи назвал ее

провокационной. Демократы, как видим, совсем не стеснялись ограничивать свободу печати, поскольку удары приходилось наносить налево. К счастью, их собственная свобода была достаточно ограниченной. Поддерживая Исполнительный комитет как свой высший орган, рабочие и солдаты во все важные моменты поправляли политику руководства прямым вмешательством со своей стороны.

Уже через несколько дней Исполнительный комитет пытался путем "приказа № 2" отменить первый приказ, ограничивая поле его действия петроградским военным округом. Тщетно! "Приказ № 1" был несокрушим, ибо он ничего не выдумывал, а только закреплял то, что рвалось наружу в тылу и на фронте и требовало признания.

Лицом к лицу с солдатами даже либеральные депутаты заслонялись от вопросов и упреков "приказом № 1". Но в большой политике смелый приказ стал главным аргументом буржуазии против советов. Битые генералы открыли с этих пор в "приказе № 1" главное препятствие, помешавшее им сокрушить немецкие войска. Происхождение приказа выводилось из Германии. Соглашатели не уставали оправдываться в содеянном и нервировали солдат, пытаясь правой рукой отнять то, что упустили левой.

Между тем в Совете большинство рядовых депутатов уже требовало выборности командиров. Демократы всполошились. Не найдя лучших доводов, Суханов пугал тем, что буржуазия, которой вручена власть, на выборность не пойдет. Демократы откровенно прятались за спину Гучкова. В их игре либералы занимали то самое место, которое монархия должна была занять в игре либерализма. "Идя с трибуны на свое место, -- рассказывает Суханов, -- я натолкнулся на солдата, который загородил мне дорогу и, потрясая у меня перед глазами кулаком, в ярости кричал о господах, не бывших никогда в солдатской шкуре". После этого "эксцесса" наш демократ, окончательно потерявший равновесие, побежал искать Керенского, и лишь при помощи последнего "вопрос был затем как-то смазан". Эти люди только и делали, что смазывали вопросы.

Две недели удавалось им притворяться, что они не замечают войны. Наконец дальнейшие оттяжки стали невозможны. 14 марта Исполнительный комитет внес в Совет написанный Сухановым проект манифеста "К народам всего мира". Либеральная печать назвала вскоре этот документ, объединивший правых и левых соглашателей, "приказом № 1" в области внешней политики. Но эта лестная оценка была столь же фальшива, как и тот документ, к которому она относилась. "Приказ № 1" представлял собою честный ответ самих низов на вопросы, поставленные революцией перед армией. Манифест 14 марта представлял собою вероломный ответ верхов на вопросы, честно поставленные им солдатами и рабочими.

Манифест, конечно, выражал пожелание мира, притом демократического, без аннексий и контрибуций. Но этой фразеологией западные империалисты научились пользоваться задолго до февральского переворота. Именно во имя прочного, честного, "демократического" мира Вильсон собирался в те дни вступить в войну. Благочестивый Асквит давал в

парламенте ученую классификацию аннексий, из которой вытекало с несомненностью, что осуждены как безнравственные должны быть все те аннексии, которые противоречат интересам Великобритании. Что касается французской дипломатии, то самая суть ее состояла в том, чтобы жадности лавочника и ростовщика придавать наиболее освободительное выражение. Советский документ, которому нельзя отказать в простоватой искренности побуждений, фатально попадал в наезженную колею официального французского лицемерия. Манифест обещал "стойко защищать нашу собственную свободу" от иностранного милитаризма. Именно этим и промышленляли французские социал-патриоты с августа 1914 года. "Наступила пора народам взять в свои руки решение вопроса о войне и мире", -- возглашал манифест, авторы которого от имени русского народа только что предоставили разрешать этот вопрос крупной буржуазии. Рабочих Германии и Австро-Венгрии манифест призывал: "Откажитесь служить орудием захвата и насилия в руках королей, помещиков и банкиров!" Эти слова заключали в себе квинтэссенцию лжи, ибо вожди Совета и не думали рвать собственный союз с королями Великобритании и Бельгии, с императором Японии, с помещиками и банкирами -- своими собственными и всех стран Антанты. Передав руководство внешней политикой Милюкову, который недавно еще собирался превратить Восточную Пруссию в русскую губернию, вожди Совета призывали германских и австро-венгерских рабочих следовать примеру русской революции. Театральное осуждение бойни ничего не меняло, этим занимался и папа. При помощи патетических фраз, направленных против теней банкира, помещика и короля, соглашатели превращали Февральскую революцию в орудие реальных королей, помещиков и банкиров. Уже в приветственной телеграмме Временному правительству Ллойд Джордж оценил русскую революцию как доказательство того, что "настоящая война в основе своей есть борьба за народное правительство и за свободу". Манифест 14 марта "в основе своей" солидаризировался с Ллойд Джорджем и оказывал ценную поддержку милитаристической пропаганде в Америке. Трижды права была газета Милюкова, когда писала, что "воззвание, начавшееся со столь типичных пацифистских тонов, в сущности, разворачивается в идеологию, общую нам со всеми нашими союзниками". Если русские либералы тем не менее не раз свирепо нападали на манифест, а французская цензура вообще не пропускала его, то это вызывалось страхом перед тем толкованием, которое давали этому документу революционные, но еще доверчивые массы.

Написанный циммервальдцем манифест знаменовал принципиальную победу патриотического крыла. На местах советы подхватили сигнал. Лозунг "Война войне" был объявлен недопустимым. Даже на Урале и в Костроме, где большевики были сильны, патриотический манифест получил единогласное одобрение. Немудрено: ведь и в Петроградском Совете большевики не дали этому фальшивому документу отпора.

Через несколько недель пришлось производить частичную уплату по векселю. Временное правительство выпустило военный заем, который,

конечно, был назван "займом свободы". Церетели доказывал, что, так как правительство "в общем и целом" выполняет свои обязательства, демократия должна поддержать заем. В Исполнительном комитете оппозиционное крыло собрало больше трети голосов. Но на пленуме Совета (22 апреля) против займа голосовало всего 112 человек из почти двух тысяч депутатов. Отсюда делали иногда вывод: Исполком левее Совета. Но это неверно. Совет был лишь честнее Исполкома. Если война есть защита революции, то нужно дать на войну деньги, нужно поддержать заем. Исполком был не революционнее, а уклончивее. Он жил двусмысленностями и оговорками. Им же поставленное правительство он поддерживал "в общем и целом" и брал на себя ответственность за войну лишь "постольку-поскольку". Эти мелкие хитрости были чужды массам. Солдаты не могли ни воевать постольку-поскольку, ни умирать в общем и целом.

Чтобы закрепить победу государственной мысли над бреднями, генерал Алексеев, собиравшийся 5 марта расстреливать шайки пропагандистов, официально поставлен был 1 апреля во главе вооруженных сил. Отныне все было в порядке. Вдохновитель внешней политики царизма, Милуков состоял министром иностранных дел. Руководитель армии при царе, Алексеев стал верховным главнокомандующим революции. Преемственность была восстановлена полностью.

В то же время советские вожди вынуждались логикой положения сами распускать петли той сети, которую плели. Официальная демократия смертельно боялась тех командиров, которых терпела и поддерживала. Она не могла не противопоставить им свой контроль, стремясь одновременно и опереть его на солдат, сделать его по возможности независимым от них. В заседании 6 марта Исполнительный комитет признал желательным ввести своих комиссаров при всех воинских частях и военных учреждениях. Таким образом, создавалась тройная связь: части делегировали своих представителей в Совет; Исполнительный комитет посылал своих комиссаров в части; наконец, во главе каждой части становился выборный комитет, представлявший собой как бы низовую ячейку Совета.

Одну из важнейших обязанностей комиссаров составляло наблюдение за политической благонадежностью штабов и командного состава. "Демократический режим, пожалуй, превзошел самодержавный", -- негодует Деникин и тут же хвастает, как ловко его штаб перехватывал и передавал ему зашифрованную переписку комиссаров с Петроградом. Присматривать за монархистами и крепостниками -- что может быть возмутительнее? Иное дело -- воровать переписку комиссаров с правительством. Но как бы ни обстояло с моралью, внутренние отношения правящего аппарата армии выступают с полной ясностью: обе стороны боятся друг друга и враждебно следят друг за другом. Их связывает только общий страх перед солдатами. Сами генералы и адмиралы, каковы бы ни были их дальнейшие надежды и планы, ясно видели, что без демократического прикрытия им несдобровать. Положение о комитетах во флоте было выработано Колчаком. Он рассчитывал в будущем задушить их. Но так как сегодня нельзя было шагу

ступить без комитетов, то Колчак ходатайствовал перед ставкой об их утверждении. Подобным же образом генерал Марков, один из будущих белых полководцев, послал в начале апреля в министерство проект института комиссаров для проверки лояльности командного состава. Так "вековые законы армии", то есть традиции военного бюрократизма, ломались, как соломинки, под напором революции.

Солдаты подходили к комитетам с противоположного конца и сплывались вокруг них против командного состава. И хотя комитеты защищали командиров от солдат, но только до известного предела. Положение офицера, пришедшего в столкновение с комитетом, становилось невыносимым. Так складывалось неписаное право смещения солдатами начальников. На Западном фронте, по словам Деникина, к июлю месяцу ушло до 60 старых начальников -- от командира корпуса до командира полка. Подобные же смещения происходили и внутри полков.

Тем временем шла кропотливая канцелярская работа в военном министерстве, в Исполкоме, в контактных заседаниях, имевшая задачей создать "разумные" формы отношений в армии и поднять авторитет начальников, сведя армейские комитеты ко второстепенной, преимущественно хозяйственной роли. Но пока высокие вожди тенью щетки чистили тень революции, комитеты развернулись в могущественную централизованную систему, восходившую к Петроградскому исполнительному комитету и организационно закреплявшую за ним власть над армией. Этой властью Исполнительный комитет пользовался, однако, главным образом для того, чтобы через комиссаров и комитеты снова впрячь армию в войну. Солдатам приходилось все чаще задумываться над вопросом, как это так выходит, что избранные ими комитеты говорят часто не то, что думают они, солдаты, а то, чего хочет от них, солдат, начальство.

Окопы все в большем и большем числе посылают в столицу депутатов узнать что и как. С начала апреля движение фронтовиков становится непрерывным, каждый день в Таврическом идут коллективные беседы, приезжие солдаты тяжело шевелят мозгами, разбираясь в таинствах политики Исполкома, который ни на один вопрос не умеет ответить ясно. Армия грузно переходит на советскую позицию, чтобы тем яснее убедиться в несостоятельности советского руководства.

Либералы, не смея открыто противопоставить себя Совету, пытаются, однако, еще вести борьбу за армию. Политической связью с ней должен, конечно, служить шовинизм. Кадетский министр Шингарев на одном из собеседований с окопными ходоками защищал приказ Гучкова против "излишней снисходительности" к пленным, ссылаясь на "немецкие зверства". Министр не встретил ни малейшего сочувствия. Собрание решительно высказалось за облегчение участи пленных. Это были те самые люди, которых либералы походя обвиняли в эксцессах и зверствах. Но у серых фронтовиков имелись свои критерии. Они считали допустимым отомстить офицеру за издевательства над солдатами, но им казалось подлостью мстить пленному немецкому солдату за действительные или мнимые зверства

Людендорфа. Вечные нормы морали, увы, оставались чужды этим корявым и вшивым мужикам.

Из попыток буржуазии овладеть армией возникло состязание, впрочем совсем не развернувшееся, между либералами и соглашателями на съезде делегатов Западного фронта 7--10 апреля. Первый съезд одного из фронтов должен был стать решающей политической проверкой армии, и обе стороны послали в Минск лучшие свои силы. От Совета: Церетели, Чхеидзе, Скобелев, Гвоздев; от буржуазии: сам Родзянко, кадетский Демосфен, Родичев и другие. Страшное напряжение царило в битком набитом здании минского театра и расходилось из него кругами по городу. Из сообщений делегатов раскрывалась картина того, что есть. По всему фронту идет братание, солдаты берут все смелей инициативу, командный состав и думать не может о репрессивных мерах. Что тут могли сказать либералы? Перед лицом этой страстной аудитории они сразу отказались от мысли противопоставлять свои резолюции советским. Они ограничивались патриотическими нотами в приветственных речах и скоро смылись совсем. Битва была выиграна демократами без боя. Им приходилось не вести массы против буржуазии, а сдерживать их. Лозунг мира, двусмысленно переплетенный с лозунгом обороны революции в духе манифеста 14 марта, господствовал над съездом. Советская резолюция о войне была принята 610 голосами против 8 при 46 воздержавшихся. Последняя надежда либералов противопоставить фронт тылу, армию -- Совету рассыпалась прахом. Но и демократические вожди возвращались со съезда более напуганные своей победой, чем вдохновленные ею. Они увидели духов, пробужденных революцией, и почувствовали, что эти духи им не по плечу.